

ЭМИЛЬ
ГАБОРИО

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОРСИВАЛЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Классический детектив

Эмиль Габорио

Преступление в Орсивале

«Издательство АСТ»
1866

УДК 821.133.1-312.4
ББК 84(4Фра)-44

Габорио Э.

Преступление в Орсивале / Э. Габорио — «Издательство АСТ», 1866 — (Классический детектив)

ISBN 978-5-17-162722-5

На берегу Сены в деревушке Орсиваль найден труп графини де Треморель. Поначалу подозрение падает на браконьеров, нашедших тело, и садовника Гепена с темным прошлым. Но вскоре следствие заходит в тупик, и тогда из Парижа прибывает знаменитый сыщик Лекок, мастер перевоплощений, в котором парадоксально сочетаются артистизм и холодный аналитический ум. Там, где другие видят очевидные улики, Лекок замечает идеальную инсценировку. Он понимает: изощренный преступник намеренно водит следствие за нос. Чтобы сорвать с убийцы маску, сыщику придется раскопать самые грязные и пугающие тайны аристократического семейства, где у каждого — от слуги до близкого друга — есть свой скелет в шкафу...

УДК 821.133.1-312.4
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-162722-5

© Габорио Э., 1866
© Издательство АСТ, 1866

Содержание

I 6
II 12
III 17
IV 24
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Эмиль Габорио
Преступление в Орсивале

© Перевод. Е. Баевская, 2024
© Перевод. Л. Цывьян, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2026

I

В четверг 9 июля 186… года Жан Берто по прозвищу Подшофе и его сын, известные всему Орсивалю браконьеры и огородные воры, поднялись с зарей, в три утра, и отправились на рыбную ловлю. Нагруженные снастями, они шли по живописной, обсаженной акациями дороге, что спускается от Орсиваля к Сене и прекрасно видна со станции Эври.

Они направлялись к своей лодке, причаленной, как обычно, метрах в пятидесяти выше железнодорожного моста у низкого лугового берега по соседству с «Тенистым долом», прелестным поместьем графа де Треморель.

На берегу они сбросили снасти на землю, и Жан Подшофе полез в лодку вычерпать воду. Орудуя черпаком, он обнаружил, что одна из уключин их дряхлой посудины дышит на ладан.

– Филипп! – крикнул Подшофе сыну, распутывающему сеть вентеря, ячейки которой любой речной сторож счел бы непозволительно мелкими. – Филипп! Принеси какую-нибудь палку сделать уключину.

– Сейчас, – ответил Филипп.

Но на лугу деревья не растут. Посему Филипп отправился в парк поместья, находящийся буквально в нескольких шагах, и, не обращая внимания на статью 391 Уголовного кодекса, перебрался через довольно широкую канаву, окружающую владения графа. Он собрался срезать сук с одной из старых плакучих ив, купающих свои ветви в речных струях. Воровато оглянувшись., он вытащил из кармана нож и вдруг истошно закричал:

– Отец! Отец!

– Ну чего тебе? – не чуя беды, поинтересовался старый браконьер.

– Иди сюда! Ради бога, скорей сюда!

По изменившемуся голосу сына Жан Подшофе понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Подгоняемый тревогой, он бросил черпак и ринулся в парк.

То, что он увидел, испугало его не меньше, чем Филиппа.

На берегу в зарослях ирисов и тростника был распростерт труп женщины. Ее длинные распущенные волосы запутались среди водяных растений; серое шелковое платье, превратившееся в лохмотья, было в грязи и пятнах крови. Ногами она лежала на берегу, а лицом в воде – уткнувшись в ил.

– Убийство, – пробормотал Филипп, и голос его дрогнул.

– Да уж точно, – равнодушно отозвался Подшофе. – Интересно, кто она? Вроде смахивает на графиню.

– Пошли глянем, – предложил юноша и уже шагнул было к трупу, но отец схватил его за руку.

– Ты что, спятил? Нельзя прикасаться к телу убитого до прихода властей.

– Тогда пошли скажем мэру.

– Чего ради? Здешние и так нас не больно жалуют. А вдруг они решат свалить это на нас?

– Все равно, отец…

– Ха! Если мы сообщим господину Куртуа, он тут же заинтересуется, как мы оказались в графском парке. Ну, убили графиню – тебе-то что до этого? Найдут ее труп и без нас. Пошли отсюда.

– Нет, надо сообщить, – после недолгого раздумья отрезал Филипп. – Мы же люди, не дикари какие-нибудь. А господину Куртуа скажем, что труп мы заметили, проплывая на нашей посудине мимо парка.

Подшофе поначалу противился, но, видя, что сын готов идти и без него, сдался.

Они вновь перебрались через ров и, бросив снасти на берегу, скорым шагом отправились к дому орсивальского мэра.

Орсиваль, расположенный на правом берегу Сены в пяти километрах от Корбейля и в двадцати минутах ходьбы от железнодорожной станции Эври, – одна из самых прелестных деревушек в окрестностях Парижа.

Парижане, которые шумными, хищными толпами налетают, подобно саранче, на соседние селения, пока еще не открыли ее для себя. Кабачки не заглушили еще тошнотворными кухонными запахами аромат жимолости. Песни горожан, катающихся в лодках, ритурнели корнет-а-пистонов на танцах здесь еще не спугнули эхо.

Белые домики в ласковой тени деревьев и церковь с новенькой колокольней, предметом гордости орсивальцев, уютно расположились на склоне холма, подножие которого омывает Сена.

Со всех сторон деревню окружают большие загородные имения, содержание которых стоит немалых денег. Сверху можно увидеть флюгера замков – их там десятка два.

Справа находится лес Мопревуар и очаровательный крохотный замок графини де ла Бреш; напротив, на том берегу реки, бывшее имение Агуадо, ныне принадлежащее знаменитому каретнику г-ну Биндеру; вон те высокие деревья – поместье графа де Треморeля; это – обширный парк д'Этиолей; там внизу – Корбейль, а вон то огромное здание, крыша которого выглядывает из-за столетних дубов, – мельница Дарбле.[1]

Мэр Орсиваля жил на самой вершине холма в одном из тех домов, какие могут присниться разве что в сладостном сне о стотысячной ренте.

В прошлом фабрикант-текстильщик, г-н Куртуа начинал свою коммерческую карьеру без гроша в кармане, но после тридцати лет упорных трудов завершил ее с состоянием в кругленькую сумму четыре миллиона. И тогда он решил зажить спокойной жизнью в кругу жены и дочерей, зиму проводить в Париже, а лето на лоне природы.

Однако внезапно жизнь его стала бурной и беспокойной. А все дело в том, что в сердце у него завелся червь тщеславия. Г-н Куртуа приложил массу усилий, чтобы его попросили стать мэром Орсиваля. И когда его попросили, он согласился – против воли, как он будет вас уверять.

Пост мэра – предмет его отчаяния и блаженства одновременно. Отчаяния – показного, блаженства – подлинного и таимого в глубинах души.

О, г-н Куртуа прекрасен, когда с нахмуренным челом клянет тяготы власти, но еще прекрасней он, когда, опоясанный шарфом с золотыми кистями, торжественно выступает во главе муниципалитета!

В доме мэра все еще спали, когда отец и сын Берто принялись колотить тяжелым молотком в двери. Прошло довольно много времени, прежде чем в одно из окон первого этажа выглянул полуодетый и полусонный слуга.

– Вы что, негодяи, взбесились? – разгневанно вопросил он.

Подшофе предпочел не заметить оскорбления, кстати, вполне соответствующего репутации, которая закрепилась за ним и его сыном среди жителей коммуны.

– Господин Батист, нам нужно срочно поговорить с мэром. Разбудите его, он не станет вас бранить.

– Чтобы меня когда-нибудь бранили? – возмутился слуга.

Потревожить хозяина Батист решился лишь после десятиминутных препирательств и разъяснений.

Наконец оба Берто предстали перед кругленьким, багроволицым г-ном Куртуа, который был крайне недоволен тем, что его вытащили из постели в такую рань.

---

[1] Агуадо, Александр (1784–1842) – банкир, коллекционер произведений искусства и натуралист. (*Здесь и далее знаком * помечены примечания переводчиков.*)

– Господин мэр, – начал Филипп, – мы пришли сообщить о большой беде. Мы уверены, что в поместье графа де Треморель совершено преступление.

Г-н Куртуа, друживший с графом, от такого известия побледнел, как полотно.

– О боже! – не владея собой, пробормотал он. – Что вы несете, какое преступление?

– Мы только что своими глазами видели убитую женщину, и похоже, это графиня.

Почтенный мэр в полном замешательстве воздел руки к небу.

– Где? Когда?

– Только что в парке у реки. Мы плыли вдоль берега, хотели проверить верши.

– Какой ужас! – бормотал г-н Куртуа. – Какое несчастье! Превосходнейшая женщина! Нет, это невозможно, вы ошиблись, меня бы известили…

– Да мы точно видели, господин мэр.

– У меня в коммуне такое преступление! Но вы правильно сделали, что пришли. Я мигом оденусь, и мы поспешим… То есть нет, погодите. – И после минутного размышления г-н мэр крикнул: – Батист!

Слуга был неподалеку. Приникая то ухом, то глазом к замочной скважине, он с упоением подслушивал и подглядывал. Едва раздался зов хозяина, он тут же распахнул дверь.

– Беги к мировому судье, – приказал мэр, – нельзя терять ни секунды. Речь идет о преступлении, может быть, даже об убийстве, так что скажи, пусть он не мешкая идет сюда. А вы, – обратился он к обоим Берто, – ждите меня здесь, я только пальто накину.

Орсивальский мировой судья, которого все звали папашей Планта, некогда был преуспевающим стряпчим в Мелёне. В возрасте пятидесяти лет он в один месяц потерял жену, которую боготворил, и двоих очаровательных сыновей: одному было восемнадцать, другому двадцать два.

Эти последовавшие друг за другом утраты сразили его, разучившегося за тридцать лет благоденствия противостоять несчастьям. Долгое время опасались за его рассудок. Папашу Планта выводил из себя один вид клиента, пришедшего отвлекать его от безутешного горя дурацкими рассказами о своих делах. Поэтому никто не удивился, когда он за полцены продал свою адвокатскую контору. Он решил предаваться отчаянию в уединении, чтобы никто не мог ему в этом помешать.

Однако скорбь со временем притупилась, и на смену ей пришла тоска от безделья. В Орсивале оказалась вакантной должность мирового судьи, папаша Планта похлопотал и получил ее.

Став мировым судьей, он скучал уже меньше. Этот человек, считавший, что жизнь его кончилась, вдруг начал интересоваться делами, с которыми обращались к нему как к судье. Он использовал все силы и средства незаурядного, проницательного ума, чтобы выделить крупицы правды из тех нагромождений лжи, какие ему приходилось выслушивать.

Несмотря на увещания г-на Куртуа, папаша Планта предпочитал замкнутый образ жизни, утверждая, что любое общество его утомляет, а несчастный человек всем в тягость. Свободное время, остающееся от судейских обязанностей, он посвящал своей несравненной коллекции петуний.

Несчастье, изменяющее характер человека либо в лучшую, либо в худшую сторону, превратило папашу Планта, по крайней мере внешне, в чудовищного эгоиста. Он заявлял, что жизнь интересует его не больше, чем пресыщенного театрального критика – игра на сцене. И еще он любил демонстрировать глубочайшее равнодушие ко всему, приговаривая, что если на Париж вдруг прольется огненный дождь, это не заставит его даже глянуть в сторону столицы. Взволновать, растрогать его казалось немыслимым. «Какое мне дело?» – были обычные его слова.

Таков был человек, который через четверть часа после ухода Батиста явился к мэру Орсиваля.

Г-н Планта высок, худ, нервен. В его физиономии нет ничего примечательного. У него коротко стриженные волосы, неспокойный взгляд – все время кажется, будто он что-то высматривает, – длинный и острый нос. После перенесенных страданий его некогда изящно очерченные губы искривились, верхняя как-то одрябла, и это придает ему обманчиво простоватый вид.

– Мне сказали, – начал он прямо с порога, – что госпожа де Треморель убита.

– По крайней мере, так утверждают эти люди, – отвечал мэр, только что вернувшийся в прихожую.

Но теперь это был совершенно другой человек. У г-на Куртуа было время прийти в себя. И сейчас он пытался придать своему лицу выражение холодного величия. Он был крайне недоволен собой за то, что столь недостойно выказал перед Берто тревогу и скорбь.

«Человека моего положения ничто не может взволновать», – сказал он себе.

И г-н Куртуа, хоть и был возбужден до крайности, пытался выглядеть спокойным, невозмутимым, бесстрастным.

У папаши Планта это получалось куда натуральней.

– Случай крайне прискорбный, если только это правда, – промолвил он, стараясь придать своему голосу полнейшее безразличие, – но нам-то, в сущности, что до этого. При всем при том следует незамедлительно пойти взглянуть, в чем там дело. Я послал оповестить бригадира жандармов, и он вскоре присоединится к нам.

– Идемте, – сказал г-н Куртуа. – Шарф у меня в кармане.

Шествие возглавляли оба Берто; Филипп был охвачен нетерпением и все прибавлял шаг, у старика Подшофе вид был мрачный и озабоченный. Г-н Куртуа всю дорогу не закрывал рта.

– Подумать только, – бормотал он, – убийство у меня в коммуне, где никогда не было ни единого преступления!

И мэр окинул подозрительным взглядом отца и сына Берто.

Дорогу к дому г-на Тремореля нельзя назвать живописной: с обеих сторон она зажата высокими, футов в десять высотой, оградами. С одной стороны находится парк маркизы де Ланаколь, с другой – обширный сад монастыря св. Жуана.

Предварительная беготня заняла довольно много времени, так что было уже около восьми, когда мэр, мировой судья и оба их проводника подошли к воротам поместья г-на де Тремореля.

Мэр позвонил.

Колокольчик был звонкий, дом отделяло от ворот не более шести метров посыпанного песком двора, однако из дома никто не вышел. Мэр позвонил громче, потом еще громче, потом изо всех сил, но, увы, тщетно.

У калитки замка г-жи де Ланаколь, расположенной прямо напротив, стоял конюх и начищал мундштук уздечки.

– Зря, господа, звоните, – заметил он. – В замке никого нет.

– Как никого? – изумился мэр.

– Ну, никого, кроме хозяев, – пояснил конюх. – Вчера вся прислуга на поезде в восемь пятнадцать вечера уехала в Париж на свадьбу мадам Дени, бывшей здешней кухарки. Они вернутся сегодня с первым утренним поездом. Я тоже получил приглашение…

– Боже! – вскричал г-н Куртуа. – Значит, граф и графиня оставались этой ночью одни?

– Да.

– Какой ужас!

Папашу Планта эта беседа, похоже, начала раздражать.

– Мы не можем, – заявил он, – бессмысленно торчать тут. Жандармов до сих пор нет, так что давайте пошлем за слесарем.

Филипп уже собрался сбегать за ним, как вдруг на дороге послышались пение и смех. И почти сразу же появились три женщины и двое мужчин.

– А вот и они! – возвестил конюх, явно заинтригованный столь ранним визитом. – У них должен быть ключ.

Слуги, заметив людей у калитки, примолкли и ускорили шаг. Камердинер графа даже припустил рысцой, опередив остальных.

– Вы хотите поговорить с господином графом? – осведомился он, предварительно поздоровавшись с мэром и мировым судьей.

– Мы уже раз пять звонили изо всех сил, – сообщил мэр.

– Странно! – удивился камердинер. – У господина графа очень чуткий сон. Видимо, он вышел.

– Господи! – воскликнул Филипп. – Оба убиты!

Это восклицание несколько отрезвило слуг, чья веселость свидетельствовала о том, что за здоровье новобрачных было провозглашено немало тостов.

Г-н Куртуа, похоже, крайне внимательно следил за реакцией старика Берто.

– Убиты, – пробормотал камердинер. – Это из-за денег. Кто-то, видать, пронюхал…

– Что, что? – всполошился мэр.

– Вчера утром господин граф получил очень крупную сумму.

– Ага, очень! – вступила горничная. – Вот такую пачку банковских билетов. Мадам даже сказала хозяину, что из-за этой кучи денег она всю ночь не сомкнет глаз.

Воцарилось молчание, все испуганно переглядывались. Г-н Куртуа задумался.

– В котором часу вы вчера ушли? – спросил он у слуг.

– В восемь. Вчера даже ужин подали раньше.

– Ушли все вместе?

– Да, сударь.

– И не разлучались?

– Ни на одну минуту.

– И вернулись все вместе?

Слуги обменялись какими-то странными взглядами.

– Вместе, – ответила горничная, видимо, отличавшаяся длинным языком. – То есть нет. Когда мы вышли на Лионском вокзале, Гепен отстал.

– Вот как?

– Да, сударь. Он сказал, что сходит по своим делам и встретится с нами в Батиньоле у Веплера, где праздновалась свадьба.

Мэр сильно толкнул локтем мирового судью, как бы призывая того быть начеку, и продолжил допрос:

– А потом вы видели этого Гепена?

– Нет, сударь. Я даже несколько раз за ночь интересовалась, не пришел ли он, потому что его отсутствие показалось мне подозрительным.

Горничная, очевидно, намеревалась продемонстрировать свою сверхъестественную проницательность; еще немного, и она заявила бы, что у нее были дурные предчувствия.

– Этот Гепен давно здесь служит? – прервал ее мэр.

– С весны.

– Чем он занимается?

– Его прислали из «Прилежного садовника», он ухаживал за редкими цветами в оранжерее мадам.

– А… про деньги он знал?

– Да! Да! – хором ответили слуги. – В людской о них было много разговоров.

– А Гепен, – ворвалась в разговор словоохотливая горничная, – прямо так и сказал мне: «Подумать только, у графа в секретере такие деньжищи, что нам всем хватило бы их до конца жизни».

– А что он за человек?

От этого вопроса языки у слуг словно присохли к нёбу. Все молчали, прекрасно понимая, что любое слово может послужить основанием для чудовищного обвинения.

Однако конюх из дома напротив, явно горевший желанием принять участие в разговоре, подобных опасений не испытывал.

– Гепен – отличный парень, а уж жизнь повидал… Господи, каких только историй от него не услышишь! Чего он только не испытал! Раньше вроде был богат, и если бы пожелал… Работа у него в руках горит, а уж гульнуть или там погонять шары на бильярде – другого такого не сыскать…

Невнимательно, вполуха слушая эти показания, а верней сказать – болтовню, папаша Планта сосредоточенно рассматривал ограду и калитку. Вдруг он повернулся и, к великому возмущению мэра, прервал конюха:

– Ну, хватит. Прежде чем продолжать допрос, неплохо бы посмотреть, что за преступление совершено, и совершено ли оно. Пока мы не имеем никаких доказательств этого. У кого из вас есть ключи?

Ключи были у камердинера, он открыл калитку, и все вошли во двор. Как раз появились и жандармы. Мэр велел бригадиру следовать за ним, а двоих поставил у ворот, приказав никого не впускать и не выпускать без его разрешения.

Только после этого камердинер отворил дверь дома.

II

Если даже в доме графа де Тремореля и не было совершено преступления, то явно случилось нечто из ряда вон выходящее; невозмутимый мировой судья понял это, едва переступив порог.

Стеклянная дверь в сад распахнута настежь, три стекла в ней разбиты.

Клеенчатая дорожка, соединяющая все двери, сорвана, кое-где на белых мраморных плитах запеклись капли крови. Самое большое пятно виднелось у лестницы, а на нижней ступеньке была какая-то омерзительная грязь.

Почтенный г-н Куртуа, не созданный для подобных зрелищ и миссии, какую ему предстояло исполнить, едва не упал в обморок. По счастью, чувство собственной значительности и важности придало ему энергию, в общем-то несвойственную его натуре. Чем трудней представлялось г-ну мэру расследование этого дела, тем сильней хотелось ему довести его до конца.

– Проводите нас к тому месту, где вы обнаружили труп, – приказал он Берто.

– Мне кажется, – вмешался папаша Планта, – что разумней и логичней было бы начать с осмотра дома.

– Пожалуй, да… Действительно, я и сам так подумал, – ухватился за этот совет г-н Куртуа, как утопающий хватается за соломинку.

Он велел оставаться на месте всем, кроме бригадира и камердинера, прихваченного в качестве проводника по дому.

– Жандармы! – крикнул напоследок г-н Куртуа стражам, стоящим у ворот. – Следите, чтобы никто не вышел отсюда, никого не впускайте в дом, а главное, в сад!

После этого поднялись наверх.

Вся лестница была в кровавых пятнах. Кровь была даже на перилах, и г-н Куртуа вдруг с ужасом обнаружил ее у себя на руке.

На площадке второго этажа мэр спросил камердинера:

– Скажите, мой друг, у ваших хозяев общая спальня?

– Да, сударь.

– А где она расположена?

– Здесь, сударь, – ответил камердинер и в страхе попятился, тыча пальцем в кровавый отпечаток ладони на верхней филенке двери.

На лбу у бедняги мэра выступили капли пота, он тоже испытывал ужас и едва держался на ногах. Увы, порою власть налагает на ее носителей тяжкое бремя. Бригадир, старый солдат, проделавший Крымскую кампанию, стоял в полной растерянности.[2]

Один лишь папаша Планта был спокоен, словно у себя в саду, и хладнокровно поглядывал на остальных.

– Все-таки надо решиться, – вздохнул он и толкнул дверь.

В комнате, куда они вошли, ничего необычного не оказалось. Это был будуар – голубой атлас на стенах, диван и четыре кресла с одинаковой обивкой. Одно из кресел, опрокинутое, лежало на полу.

Следующей была спальня.

Она подверглась ужасающему разгрому, от которого мороз продирал по коже. Любой предмет меблировки, любая безделушка свидетельствовали о жестокой, отчаянной, беспощадной борьбе между убийцами и жертвами.

---

[2] Центральный эпизод Крымской (Восточной) войны (1853–1856) между Россией с одной стороны и Великобританией, Францией, Турцией и Сардинским королевством – с другой. Кампания в Крыму длилась с сентября 1854 г. по начало 1856 г.

Посреди комнаты – перевернутый лаковый столик, вокруг – куски сахара, позолоченные чайные ложки, осколки фарфора.

– Ах! Хозяева пили чай, когда ворвались злодеи, – воскликнул камердинер.

С каминной полки все сброшено. Часы, упав на пол, остановились на двадцати минутах четвертого. Рядом валялись лампы, их стекла разбились, масло вытекло.

Кровать накрывал сорванный полог. Видимо, кто-то в отчаянии цеплялся за него. Вся мебель перевернута. Обивка кресел вспорота ножом, из некоторых вылез конский волос. Секретер взломан, расколотая крышка висит на петлях, ящики открыты и пусты. Зеркало платяного шкапа разбито вдребезги, прелестный комод работы Буля и столик для рукоделия тоже разломаны, туалет опрокинут.

И все – ковер, обои, мебель, гардины, а главное, полог – в крови.

Очевидно, граф и графиня де Треморель долго и отважно защищали свою жизнь.

– Несчастные, – прошептал г-н Куртуа, – несчастные! Здесь они нашли смерть.

И при воспоминании о своей дружбе с графом он вдруг забыл, что нужно изображать значительность, забыл про маску бесстрастности и разрыдался.

Всем присутствующим было не по себе. Тем не менее мировой судья все тщательно осматривал, записывал что-то в книжечку, заглядывал в каждый угол, а закончив, бросил:

– Теперь пошли дальше.

В остальных комнатах был такой же разгром. Создавалось впечатление, будто в доме провела ночь либо компания буйнопомешанных, либо шайка озверевших негодяев.

В особенности пострадал кабинет графа. Убийцы даже не дали себе труда взламывать замки, они просто рубили мебель топором. Причем они были уверены, что их никто не услышит: чтобы разнести в щепы массивное дубовое бюро, пришлось, видимо, рубить изо всей силы. На полу кучей валялись книги, выброшенные из книжного шкафа.

Преступники не пощадили ни гостиную, ни курительную. Диваны и стулья тут были вспороты, словно в них что-то искали. Обе комнаты для гостей тоже перевернуты вверх дном.

На третьем этаже в первой же комнате рядом с уже атакованным, но еще не взломанным шкафчиком лежал топор, и камердинер опознал его.

– Ну, теперь ясно, – обратился мэр к папаше Планта. – Убийц было несколько. Расправившись с графом и графиней, они разбрелись по дому в поисках денег, о которых знали. Один из них взламывал шкафчик, но в это время другие нашли внизу спрятанные деньги. Его позвали, и он, решив, что искать больше нет смысла, бросил топор здесь.

– Я тоже так думаю, – согласился бригадир.

На первом этаже преступники ничего не тронули. Однако, покончив с жертвами и отыскав деньги, они решили подкрепиться. В столовой остались следы их пиршества. Они съели все остатки, оказавшиеся в буфете. На столе рядом с восемью пустыми бутылками из-под вина и ликеров выстроились пять стаканов.

– Их было пятеро, – сделал вывод мэр. Огромным усилием воли он принудил себя вновь принять холодно-невозмутимый вид. – Прежде чем пойти осмотреть трупы, я пошлю записку императорскому прокурору в Корбейль. Не позже чем через час к нам приедет следователь и завершит наш прискорбный труд.

Г-н Куртуа приказал одному из жандармов заложить коляску графа и во весь опор скакать в Корбейль.

После этого мэр и судья в сопровождении бригадира, камердинера и обоих Берто отправились к реке.

В «Тенистом доле» довольно большой парк, но он весь вытянут вдоль берега. От дома же до Сены не будет и двухсот шагов. Перед домом зеленеет прелестная лужайка, вокруг которой разбиты цветочные клумбы. Ее огибают две аллеи, ведущие к реке.

Преступники, сокращая путь, пошли прямиком по газону, на котором явственно видны были их следы. Трава была истоптана и примята, словно по ней кого-то волокли. В центре газона валялось что-то красное. Это оказалась туфля, по заверению камердинера, принадлежавшая графу. Чуть подальше нашли белый фуляр, который слуга неоднократно, как он заявил, видел на шее графа. Фуляр был в крови.

Наконец подошли к ивам, где Филипп, собираясь срезать ветку для уключины, обнаружил труп. На этом месте песок был истоптан, можно даже сказать, перепахан, вероятней всего, ногами человека, пытавшегося найти спасительную опору. Все свидетельствовало о происходившей здесь отчаянной борьбе.

Г-н Куртуа мгновенно оценил всю важность этих следов.

– Всем оставаться на месте, – распорядился он и, сопровождаемый одним только судьей, приблизился к трупу.

Хотя убитая лежала вниз лицом, и мэр, и папаша Планта узнали графиню. Они не раз видели ее в этом сером платье, отделанном голубыми басонами.

Но как графиня оказалась тут?

Мэр предположил, что ей удалось вырваться из рук убийц, и, обезумев от ужаса, она кинулась бежать. За ней погнались, здесь настигли, нанесли последние удары, она рухнула и больше не встала. Такая версия объясняла следы борьбы. Тогда, выходит, через лужайку преступники волокли тело графа.

Г-н Куртуа с жаром разглагольствовал, пытаясь убедить в своих выводах мирового судью. Однако папаша Планта почти не слушал его, он словно где-то витал и отвечал лишь короткими «да», «нет», «возможно». А воодушевленный мэр все расхаживал взад-вперед, что-то замерял и старательно обследовал местность.

У берега глубина была не больше фута. Илистая отмель, на которой растут купы ирисов да несколько тщедушных кувшинок, полого спускалась к середине реки.

Сквозь чистую неподвижную воду виднелся жирный, лоснящийся ил.

Внезапно г-на Куртуа поразила какая-то мысль.

– Подшофе! – крикнул он. – Идите сюда!

Старый браконьер приблизился.

– Вы говорили, что заметили тело с лодки?

– Да, господин мэр.

– А где ваша лодка?

– Причалена у луга.

– Ну-ка проводите нас к ней.

Всем присутствующим стало ясно, что приказ мэра напугал старика. Он вздрогнул, лицо его покрылось бледностью – она проступила даже сквозь загар. Более того, все отметили, как он бросил на сына прямо-таки угрожающий взгляд.

– Пойдемте, – наконец выдавил он.

Все было повернули к дому, но тут камердинер предложил воспользоваться более короткой дорогой.

– Так будет быстрее, – сказал он. – Я сейчас принесу лестницу, и мы ее перекинем через канаву.

Не прошло и минуты, как он вернулся, неся импровизированные мостки. Но только он их уложил, раздался крик мэра:

– Стойте! Стойте!

Г-ну Куртуа бросились в глаза следы, оставленные Подшофе и Филиппом на обоих берегах канавы.

– Здесь проходили, и совсем недавно: следы свежие, – заключил мэр.

Через несколько минут, завершив осмотр следов, г-н Куртуа приказал переложить лестницу чуть подальше. На берегу он строгим голосом спросил у Подшофе:

– Значит, с этой лодки вы сегодня утром поднимали вентери?

– Да, сударь.

– В таком случае, где они? Потому что на этих сети совершенно сухие. К тому же ни багор, ни весла не погружались в воду по меньшей мере сутки.

Замешательство обоих браконьеров становилось все более явственным.

– Вы продолжаете настаивать на своем утверждении? – обратился мэр к старику.

– Само собой.

– А вы, Филипп?

– Сударь, – промямлил юноша, – мы сказали вам чистую правду.

– Ну, разумеется! – усмехнулся г-н Куртуа. – В таком случае вы легко сможете объяснить представителю закона, как вам удалось заметить труп с лодки, в которую вы даже не влезали. А вам докажут, что лежащий там труп невозможно – вы слышите? – совершенно невозможно увидеть с середины реки. Потом вам придется рассказать, кто оставил обнаруженные мною следы, и те – на траве, и эти, ведущие от вашей лодки к канаве, через которую не один раз переправлялись несколько человек.

Оба Берто поникли головой.

– Бригадир, – приказал мэр, – именем закона арестуйте этих людей и не позволяйте им общаться между собой.

Филипп, казалось, вот-вот лишится чувств. Что же касается Подшофе, он лишь пожал плечами и буркнул сыну:

– Ну, добился своего?

Бригадир увел обоих арестованных и запер в разных комнатах, поставив жандарма караулить, а судья и мэр тем временем вернулись в парк.

– Однако никаких следов графа, – недоуменно бормотал г-н Куртуа.

Теперь предстояло убрать труп графини.

Мэр велел принести две доски и с величайшими предосторожностями положить их так, чтобы не затоптать столь драгоценные для следствия следы.

Увы, что стало с очаровательной красавицей графиней де Треморель! Во что превратилось ее свежее приветливое лицо, прекрасные выразительные глаза, изящные, тонко очерченные губы!

Как страшно переменилась она! Распухшее, покрытое грязью и окровавленное лицо представляло собой одну сплошную рану; на голове вместе с кожей вырвана прядь волос, платье в лохмотьях.

Чудовища, убившие несчастную женщину, были, вне всяких сомнений, охвачены безумной яростью. Ей нанесли более двадцати ударов ножом, били палкой или, вероятней всего, молотком, пинали ногами, драли за волосы…

В левой руке она сжимала клочок обычного серого сукна, вероятно, оторванного от одежды одного из убийц.

Записывая эти ужасные подробности себе в книжечку, несчастный мэр вдруг почувствовал, что ноги не держат его, и ему пришлось опереться на невозмутимого папашу Планта.

– Надо перенести графиню в дом, – распорядился мировой судья, – а после займемся поисками тела графа.

Камердинеру и только что вернувшемуся бригадиру пришлось призвать на помощь прислугу, которая до сих пор оставалась во дворе. Женщины ринулись в парк, и он тут же огласился душераздирающими рыданиями, воплями и проклятиями:

– Изверги! Такая славная женщина! Такая добрая хозяйка!

Из этого можно заключить, что слуги любили графа и графиню де Треморель.

Не успели положить тело графини на бильярдный стол в первом этаже, как мэра оповестили о прибытии судебного следователя и врача.

– Наконец-то! – возликовал г-н Куртуа и чуть тише добавил: – Да, вот она, оборотная сторона медали!

Впервые в жизни он по-настоящему проклинал свое тщеславие и жалел, что является самым значительным лицом в Орсивале.

III

Следователем корбейльского суда в ту пору был небезызвестный г-н Антуан Домини, который впоследствии занимал многие видные посты. Представьте себе человека лет сорока, весьма приятной наружности, с живым, выразительным лицом, но крайне, прямо-таки безмерно серьезного. Казалось, он воплощает в себе всю внушительность и отчасти даже чопорность судейского сословия. Проникнутый величием своей профессии, он посвятил ей всю жизнь, отказавшись от каких бы то ни было мелких радостей и невинных удовольствий. Г-н Домини жил одиноко, не бывал в обществе, встречался с крайне немногочисленным кругом друзей, не желая, как он выражался, чтобы человеческие слабости могли хоть в какой-то мере повлиять на отправление его священных обязанностей и тем самым умалить почтение, какое должно ему оказывать. По этой причине он не женился, хотя чувствовал, что создан для семейной жизни.

Везде и во всем он был представителем закона, иначе говоря, являл собой фанатического служителя божества, выше которого на свете ничего нет, – правосудия.

Веселый по натуре, он замыкал себя на два оборота всякий раз, когда ему хотелось рассмеяться. Остроумие было не чуждо ему, но, можете быть уверены, он долго корил бы себя, если бы позволил вырваться остроте или шутливому словцу.

Г-н Домини душой и телом был предан своей профессии, и никто не исполнял свой долг добросовестней, чем он. Но и непреклонен он был, как никто другой. Обсуждать статью кодекса казалось ему кощунством. Так гласит закон, и этого достаточно. Он закрывал глаза, затыкал уши и повиновался.

Как только начиналось следствие, у него пропадал сон, и не было преград, которых он не преодолел бы ради обнаружения истины. Тем не менее на службе его не слишком ценили: ему претило бороться с подследственным с помощью разных уловок; подстраивать преступнику ловушки, говорил он, постыдно; и наконец, он был упрям, упрям до глупости, до абсурда, до готовности отрицать очевидное.

Мэр Орсиваля и папаша Планта вскочили и устремились навстречу следователю.

Г-н Домини поздоровался так церемонно, словно не был с ними знаком, и представил своего спутника, человека лет шестидесяти:

– Доктор Жандрон.

Папаша Планта обменялся с доктором рукопожатиями, г-н мэр адресовал ему самую сердечную из официальных улыбок.

Дело в том, что доктора Жандрона отлично знали и в Корбейле, и во всем департаменте; более того, он был знаменит, несмотря на близость Парижа.

Незаурядный практикующий врач, любивший свою профессию и со страстью отдавшийся ей, доктор Жандрон тем не менее был обязан известностью не столько своим знаниям, сколько образу жизни. «Оригинал», говорили про него, и восхищались его независимостью, скептицизмом и прямотой.

Больных он посещал от пяти до девяти утра, будь то летом или зимой. Ну а если кого это не устраивает, ради бога, обращайтесь к другим, во врачах недостатка нет.

После девяти он уже не доктор. Он занимается своими делами: копается в оранжерее, возится в погребе, варит в лаборатории на чердаке какие-то таинственные смеси.

Поговаривали, будто он ищет секреты промышленной химии, чтобы округлить свою двадцатипятитысячную ренту, а таковое занятие, как известно, малопочтенно.

Доктор Жандрон не опровергал этих слухов, хотя на самом деле занимался ядами и усовершенствовал прибор своего изобретения, с помощью которого можно будет обнаружить следы любых алкалоидов, до сих пор ускользавших от анализа.

Когда же друзья в шутку упрекали его за то, что днем он спроваживает пациентов, доктор Жандрон багровел от возмущения.

– Черт вас возьми! – ярился он. – Экие вы добренькие! Четыре часа в день я – врач, а поскольку платит мне, дай бог, лишь четверть моих больных, то получается, что ежедневно три часа я отдаю человечеству, которое презираю, и занимаюсь благотворительностью, на которую мне начхать. Вот когда каждый из вас будет отдавать столько же, тогда и поговорим.

Орсивальский мэр проводил прибывших в гостиную, где он только что обосновался сам, чтобы написать отчет о проделанном расследовании.

– Это убийство, – обратился он к судебному следователю, – такое несчастье, такой позор для моей коммуны! Отныне репутация Орсиваля навеки запятнана.

– Я пока в полном неведении или в почти полном, – заметил г-н Домини. – Присланный вами жандарм ничего толком не смог рассказать.

Тут г-н Куртуа принялся пространно повествовать обо всем, что ему удалось узнать в результате всестороннего следствия, не забывая самых ничтожных деталей и особенно упирая на достойные всяческого восхищения предосторожности, какие он счел необходимым принять. Он сообщил, как поначалу поведение отца и сына Берто усыпило его подозрения, но как впоследствии он поймал их с поличным на лжи и наконец принял решение арестовать.

Запрокинув голову назад, он говорил напыщенно, велеречиво, выбирая самые ученые слова, и упивался собой. В его речи постоянно мелькали «я как мэр Орсиваля» и «вследствие чего». Наконец-то г-н Куртуа получил возможность продемонстрировать, как превосходно он исполняет свои обязанности, и удовольствие от этого несколько приглушило его страхи.

– А только что я распорядился произвести самые тщательные поиски, вследствие чего, не сомневаюсь, будет обнаружено тело графа. Пять человек, которых я назначил, и вся здешняя прислуга прочесывают парк. Если же их усилия не увенчаются успехом, у меня в распоряжении имеются рыбаки, которые будут искать убитого на речном дне.

Судебный следователь молчал и лишь иногда кивал головой в знак одобрения. Он оценивал сообщаемые сведения, взвешивал их и мысленно уже выстраивал план следствия.

– Господин мэр, вы действовали чрезвычайно разумно. Несчастье, конечно, огромное, но я согласен с вами и тоже считаю, что мы напали на след убийц. Браконьеры, которые уже у нас в руках, и пока что не вернувшийся садовник, несомненно, каким-то образом причастны к этому чудовищному злодеянию.

Папаша Планта уже несколько минут с переменным успехом сдерживал нетерпение.

– Вся беда в том, – вставил он, – что если Гепен виновен, вряд ли он будет настолько глуп, чтобы явиться сюда.

– Ничего, мы его разыщем, – ответил г-н Домини. – Перед выездом из Корбейля я отправил в Париж в префектуру полиции телеграфную депешу с просьбой прислать сыщика и полагаю, он скоро будет здесь.

– А пока он не приехал, – предложил мэр, – не хотели бы вы, господин судебный следователь, осмотреть место преступления?

Г-н Домини привстал было со стула, но тут же снова сел.

– Прежде я предпочел бы получить какие-нибудь сведения о графе и графине де Треморель.

Для г-на Куртуа вновь настал миг торжества.

– О! – воскликнул он. – Никто не сможет это сделать лучше меня. Смею вас заверить, я был одним из самых близких друзей графа и графини с той поры, как они поселились у меня в коммуне. Ах, сударь, какие это были очаровательные, прекрасные люди! А какие благожелательные и уважительные! – И при воспоминании о достоинствах погибших друзей у г-на Куртуа комок подкатил к горлу. – Графу де Треморелю было тридцать четыре, красавец, необыкновенного ума… Правда, иногда у него случались приступы меланхолии, когда он никого не

желал видеть, но обычно он бывал так учтив, любезен, предупредителен. Да, он умел быть аристократом, но без кичливости, и потому все в моей коммуне уважали и любили его.

– А графиня? – спросил судебный следователь.

– Ангел, сударь, ангел во плоти! Бедная женщина! Когда вы увидите ее останки, вам, конечно, трудно будет представить, что она была первой красавицей в округе.

– Они были богаты?

– Разумеется! Вместе у них было больше ста тысяч ренты. Да что я говорю! Много больше, потому что граф, у которого не было склонности к сельскому хозяйству, как у бедняги Соврези, продал земли, чтобы приобрести ренту.

– Они давно женаты?

Г-н Куртуа, призывая на помощь память, почесал в затылке.

– В сентябре прошлого года, то есть ровно девять месяцев назад, я самолично скрепил их брак. Как раз прошел год после смерти несчастного Соврези.

Следователь перестал записывать и с удивлением воззрился на г-на Куртуа.

– А кто этот Соврези, которого вы уже вторично поминаете?

Папаша Планта давно уже бесился от нетерпения, хотя внешне казался совершенно спокойным. Теперь он вскочил со стула.

– Господин Соврези – первый муж графини де Треморель. Мой друг Куртуа оставил этот факт без внимания.

– Но мне кажется, – обиженно возразил мэр, – что к этому делу…

– Простите, – прервал его судебный следователь, – этот факт может оказаться очень важным, хотя на первый взгляд представляется незначительным и не имеющим касательства к делу.

– Незначительным, – хмыкнул папаша Планта. – Не имеющим касательства…

Его тон был до того странен, а на лице было написано такое сомнение, что судебный следователь даже удивился.

– Вы что же, сударь, не согласны с мнением господина мэра о супругах де Треморель?

– У меня вообще нет мнения, – пожал плечами папаша Планта. – Я живу одиноко, ни с кем не вижусь, и вообще все это меня не касается. Тем не менее…

– Мне кажется, – вновь вклинился в разговор г-н Куртуа, – никто лучше меня не может знать жизнь людей, числившихся моими друзьями и проживавших в моей коммуне.

– В таком случае вы неудачно рассказываете о них, – сухо возразил папаша Планта.

Поскольку судебный следователь попросил его объяснить, что он имеет в виду, папаша Планта, к величайшему неудовольствию мэра, оттесненного на второй план, изложил в общих чертах историю женитьбы графа и графини.

Графиня де Треморель, урожденная Берта Лешайю, была дочерью бедного деревенского учителя.

К восемнадцати годам она стала самой красивой девушкой на три лье в округе, но поскольку единственным ее приданым были огромные голубые глаза да великолепные белокурые волосы, поклонников, то есть поклонников, имеющих серьезные намерения, у нее почти не было.

Берта уже смирилась с тем, что ей суждено вековать в старых девах, и по настоянию родителей решила удовольствоваться местом учительницы, крайне ничтожным для такой красавицы, как вдруг ее увидел и в нее влюбился наследник самого богатого здешнего землевладельца.

Клеману Соврези исполнилось тридцать, родители у него умерли, и он был обладателем почти стотысячной ренты и владельцем наилучших и плодороднейших земель в округе, причем

совершенно свободных от закладных. Так что сами понимаете, у него было право взять жену по собственному вкусу.

Он не раздумывал ни минуты. Попросил руки Берты, получил согласие и месяц спустя сочетался с нею браком к огромному возмущению здешних любителей посплетничать, шипевших: «Безумец! Какой смысл быть богатым, как не для того, чтобы удвоить состояние выгодной женитьбой».

Примерно за месяц до свадьбы Соврези прислал в «Тенистый дол» рабочих и через три недели уплатил за ремонт и меблировку сущий пустяк – тридцать тысяч экю* (монета в пять франков).

В этом очаровательном поместье новобрачные провели медовый месяц, и оно им так понравилось, что они решили остаться здесь навсегда к радости всех, кто был с ними в дружеских отношениях. Они сохранили за собой только дом в Париже.

Берта принадлежала к тем женщинам, которые, кажется, рождены, чтобы выйти замуж за миллионера.

Легко и непринужденно она перешла из убогой школы, где помогала отцу, в богатую гостиную «Тенистого дола». А когда она принимала в своем замке здешних аристократов, возникало впечатление, будто всю жизнь она только это и делала.

Она умела быть простой, приветливой, скромной и в то же время светской. Ее любили.

Соврези тоже любили. Это был человек с золотым сердцем, просто неспособный причинить кому-нибудь зло, человек с установившимися взглядами, упорный в своих иллюзиях, и никакие сомнения не могли подрезать им крылья. Да, Соврези был из тех, кто наперекор всему верит в дружбу своих друзей и в чувства возлюбленной.

Этой паре на роду было написано счастье, и она была счастлива.

Берта обожала мужа, этого достойнейшего человека, который предложил ей руку даже прежде, чем объяснился в любви. А он боготворил жену до такой степени, что многим это казалось просто смешным.

В «Тенистом доле» жили на широкую ногу. Много принимали. С началом осени комнаты для гостей – а таких комнат хватало – никогда не пустовали. Экипажи были выше всяких похвал.

И вот на третьем году супружества однажды вечером Соврези привез из Парижа старого друга еще по коллежу графа Эктора де Треморeля, о котором много говорили в свете. Соврези сказал, что граф поживет у них недельки две-три, но проходили недели, месяцы, а гость и не думал уезжать.

Никого это не удивляло. У Эктора была более чем бурная молодость, в которой хватало всего – кутежей, дуэлей, пари, романов. Он промотал колоссальное состояние, и относительно спокойная жизнь в «Тенистом доле», видимо, пришлась ему по душе. Поначалу ему частенько задавали вопрос: «Вам не наскучило в деревне?» В ответ он только улыбался. А многие полагали, и не без оснований, что, разорившись, он не слишком горел желанием демонстрировать свою бедность тем, кого совсем недавно уязвляло его богатство. Отлучался граф редко, и то лишь чтобы прогуляться пешком в Корбейль. Там он заглядывал в лучшую гостиницу «Бель имаж» и как бы по случайности встречался с некоей молодой дамой, приезжавшей из Парижа. Они вместе проводили день и расставались перед отходом последнего поезда.

– Черт побери! – буркнул мэр. – Наш дорогой судья чертовски много знает для человека, который живет одиноко, ни с кем не видится и не желает соваться в чужие дела.

Г-н Куртуа, разумеется, чувствовал себя уязвленным. Как так, он, первый человек в коммуне, не имел ни малейшего представления об этих свиданиях! Но настроение его испортилось еще больше, когда доктор Жандрон заметил:

– Да в свое время об этом весь Корбейль чесал языки!

Папаша Планта состроил гримасу, видимо означающую: «Я еще много чего знаю» – и продолжал повествование.

– Оттого что граф Эктор поселился в «Тенистом доле», жизнь в замке ничуть не изменилась. У г-на и г-жи Соврези появился брат, только и всего. И если Соврези в ту пору часто ездил в Париж, то лишь потому – и это ни для кого не было секретом, – что он занимался делами своего друга.

Эта идиллия продолжалась целый год. Казалось, счастье навеки поселилось под сенью «Тенистого дола».

Но, увы, однажды вечером, вернувшись с охоты на болотах, Соврези почувствовал себя настолько плохо, что ему пришлось лечь в постель. Послали за врачом. К сожалению, то был не наш друг доктор Жандрон. Он установил воспаление легких.

Соврези был молод, могуч, как дуб, так что поначалу никто не встревожился. И действительно, через две недели он был уже на ногах. Однако не поберегся и снова слег.

Примерно через месяц он выздоровел, но неделю спустя болезнь возобновилась, и на этот раз в такой тяжелой форме, что начали опасаться печального исхода.

Но зато как ярко проявились во время этой нескончаемой болезни любовь жены и привязанность друга! Никогда ни один больной не был окружен подобной заботой, не получал стольких доказательств безмерной и неподдельной преданности. Днем и ночью Соврези видел у своего изголовья либо жену, либо друга. У него бывали часы страданий, но не было ни минуты скуки. И всем, кто приходил его навестить, он неизменно повторял, что готов благословлять свой недуг.

Мне, например, он сказал: «Не заболей я, мне бы никогда не узнать, как меня любят».

– Эти же слова, – вмешался мэр, – он сотни раз повторял и мне, и госпоже Куртуа, и моей старшей дочери Лоранс.

– Однако болезнь Соврези, – продолжал папаша Планта, – оказалась из тех, перед какими бессильны и знания опытнейших врачей, и заботы самых преданных сиделок.

Соврези, если верить ему, не очень страдал, он просто таял на глазах, превращаясь в собственную тень. И вот наконец он умер ночью, в третьем часу, на руках жены и друга.

До последней минуты он сохранял ясность мысли. Примерно за час до того, как испустить последний вздох, он попросил разбудить и созвать слуг. Когда они собрались у его ложа, он взял руку жены, вложил ее в руку графа де Треморель и заставил их поклясться, что, когда его не станет, они поженятся.

Берта и Эктор пытались протестовать, однако он настаивал, умолял, заклинал, твердя, что их отказ отравляет его предсмертные мгновения, и они вынуждены были уступить.

Надо сказать, мысль о браке его вдовы с другом прямо-таки захватила Соврези в последние дни перед смертью. В преамбуле к завещанию, продиктованному накануне кончины орсивальскому нотариусу г-ну Бюри, Соврези официально заявил о горячем желании, чтобы этот союз устоялся, и об уверенности, что брак принесет им обоим счастье и будет способствовать сохранению благодарной памяти о нем.

– У господина и госпожи Соврези были дети? – поинтесовался следователь.

– Нет, – ответил мэр.

Папаша Планта продолжал рассказ.

– Скорбь графа и молодой вдовы была безмерна. Господин де Треморель впал в совершенное отчаяние, можно было подумать, что он обезумел. Графиня никого не хотела видеть, даже таких близких людей, как госпожа Куртуа и ее дочери.

Когда граф и Берта начали вновь выходить, их нельзя было узнать, так они изменились. Особенно господин Эктор – казалось, он постарел лет на двадцать. Исполнят ли они клятву, данную у смертного ложа Соврези, клятву, которая ни для кого не была тайной? Все обсуждали

эту проблему с таким же пылом, с каким восхищались столь глубокой скорбью по замечательному и вполне достойному подобной скорби человеку.

Судебный следователь кивком остановил папашу Планта и спросил:

– А не знаете ли вы, господин мировой судья, прекратились или нет эти свидания в гостинице «Бель имаж»?

– Полагаю и уверен, что да.

– Я тоже уверен в этом, – подтвердил доктор Жандрон. – Я неоднократно слышал – в Корбейле все всем становится известно – про весьма бурную сцену между господином де Треморелем и хорошенькой дамой из Парижа. После этого ее в «Бель имаж» больше не видели.

– Мелен находится не на краю света, – с улыбкой заметил папаша Планта, – а гостиницы есть и там. А на хорошей лошади не так уж далеко до Фонтенбло, Версаля или даже до Парижа. Госпожа де Треморель могла ревновать, а в конюшне ее мужа были превосходные рысаки.

Что это было – ни к чему не обязывающее замечание? Намек? Г-н Домини вопросительно глянул на папашу Планта, но лицо мирового судьи не отражало ничего, кроме глубочайшей безучастности. Он просто рассказывал эту историю, а мог рассказать любую другую.

– Прошу вас, сударь, продолжайте.

– Увы! – вздохнул папаша Планта. – Ничто не вечно под луной, даже скорбь, и я знаю это лучше, чем кто-либо другой. Безудержные слезы и неистовое отчаяние первых дней вскоре сменились сдержанным горем, а потом и мягкой печалью. А когда минул ровно год со смерти Соврези, господин де Треморель сочетался браком с его вдовой.

На всем протяжении этого довольно долгого рассказа мэр Орсиваля неоднократно выказывал признаки живейшего неудовольствия. К концу он уже не мог сдержать его.

– Сведения абсолютно верны, верней и быть не может. Но я хочу спросить, какое отношение они имеют к той важной проблеме, которой мы заняты: как найти убийц графа и графини?

– Мне эти сведения необходимы, – ответил г-н Домини, – и я считаю их весьма полезными. Очень меня беспокоят эти свидания в гостинице. Никогда не известно, до какой крайности может дойти женщина под влиянием ревности… – Он внезапно умолк, прикидывая, вероятно, какая может существовать связь между красивой парижской дамой и убийцами, но тут же продолжил: – Теперь, когда я узнал супругов Треморель так, словно был знаком с ними, перейдем к нынешней ситуации.

Глаза папаши Планта вдруг вспыхнули, он приоткрыл рот, словно намереваясь что-то сказать, но смолчал. И только доктор, внимательно наблюдавший за ним, заметил, как на миг изменилось выражение его лица.

– Мне остается лишь узнать, как жили новобрачные, – произнес г-н Домини.

Г-н Куртуа решил, что для поддержания своего престижа он должен опередить папашу Планта.

– Вы спрашиваете, как жили новобрачные? – перебил он. – Они жили в полном согласии, и у меня в коммуне никто не знает этого лучше, чем я, который был задушевным… самым близким другом. Память о несчастном Соврези была теми узами счастья, что соединяли их. И если они меня так любили, то лишь потому, что я часто говорил с ними о Соврези. Ни единая тучка не омрачала их отношений. Наш дорогой, незабвенный граф – я по-дружески звал его Эктором – относился к жене с изысканной заботливостью, как к возлюбленной, а ведь супруги – я не боюсь так говорить, – как правило, слишком быстро отвыкают от этого.

– А графиня? – поинтересовался папаша Планта, и голос его звучал так невинно, что за этим явно скрывалась насмешка.

– Берта? – воскликнул мэр. – Она была не против, чтобы я по-отечески называл ее по имени. О, я много раз ставил ее в пример и образец госпоже Куртуа! Да, Берта была достойна и Соврези, и Эктора, этих самых достойных людей, каких я знал в жизни! – Заметив, что его восторг несколько изумляет слушателей, почтенный мэр чуть сбавил тон. – Я должен кое-

что объяснить и ничуть не сомневаюсь, что могу это сделать перед людьми, чья профессия, а главное, характер служат гарантией соблюдения тайны. Соврези очень помог мне, когда… я вынужден был согласиться стать мэром. Ну а Эктор… я знал, что он порвал с заблуждениями юности, и когда заметил, что он неравнодушен к моей старшей дочери Лоранс, то с радостью думал об этом браке, не зазорном для обеих сторон: граф де Треморель был аристократ, а я давал за дочерью более чем приличное приданое, достаточное, чтобы любой потускневший герб вновь засверкал золотом. Однако события воспрепятствовали моим планам.

Мэр еще долго возглашал бы хвалы «супругам Треморель», а заодно и себе, если бы слово не взял судебный следователь.

– Ну вот, – сказал он, – я все записал, хотя мне кажется…

Его прервал громкий шум в вестибюле. Похоже, там шла борьба: в гостиную доносились крики и брань. Все вскочили.

– Я знаю, в чем дело! – воскликнул мэр. – Я догадался! Нашли тело графа.

IV

Почтенный мэр ошибся.

Дверь гостиной распахнулась, на пороге показался тщедушный человек, в которого вцепился справа жандарм, а слева слуга, и этот человек сопротивлялся им с такой яростью и силой, каких трудно было от него ожидать.

Борьба, очевидно, длилась уже довольно долго, поскольку его одежда была в самом плачевном состоянии: новый сюртук разорван, на шее болтались лохмотья галстука, запонка воротничка вырвана с мясом, сквозь разорванную сорочку видна была голая грудь. Шляпу он потерял, и его длинные черные волосы в беспорядке падали на искаженное страхом лицо.

Из вестибюля и со двора доносились голоса прислуги и более чем сотни зевак, которые, узнав о преступлении, столпились у ворот, горя желанием что-нибудь разузнать, а главное, увидеть. И вся эта толпа кричала:

– Это он! Гепен! Смерть убийце!

А бедняга, охваченный смертельным ужасом, продолжал сопротивляться и хрипел:

– Помогите! Оставьте меня, я ни в чем не виноват!

При этом он уперся в дверь, и протолкнуть его не было никакой возможности.

– Да нажмите на него! Толкайте! – командовал мэр при нарастающем ожесточении толпы.

Однако отдать приказ оказалось куда проще, чем исполнить. Страх придал Гепену нечеловеческую силу.

Но тут доктору пришла мысль открыть вторую створку дверей, и Гепен упал или, верней сказать, рухнул перед самым столом, за которым вел записи судебный следователь.

Гепен тут же вскочил, ища взглядом, куда бежать. Увы, бежать было некуда: и в окнах, и в дверях торчали любопытные. Тогда он опустился на стул.

Несчастный являл собой олицетворение крайнего ужаса. На мертвенно-бледном лице выделялись синяки, полученные при сопротивлении, побелевшие губы тряслись, он все время судорожно сглатывал слюну, пытаясь увлажнить пересохший рот. Тело сотрясала конвульсивная дрожь, а в странно округлившихся, налитых кровью глазах читалось безумие.

Вид его был настолько страшен, что мэр решил преподать собравшимся урок высокой нравственности: обратясь к толпе, он указал на Гепена и трагическим голосом возвестил:

– Вот он, преступник!

Однако остальные, то есть доктор, судебный следователь и папаша Планта, недоуменно переглядывались.

– Если он виновен, – пробормотал мировой судья, – то какого черта приперся сюда?

Потребовалось несколько минут, чтобы изгнать зевак: для этого бригадиру пришлось мобилизовать всех своих подчиненных: когда же порядок был восстановлен, он возвратился и встал рядом с Гепеном, полагая, что было бы крайне неблагоразумно оставлять столь опасного злодея с невооруженными людьми.

Однако опасный злодей, увы, представлял собой крайне жалкое зрелище. Бороться было не с кем, энергия ярости отгорела, подобно вспыхнувшей и угасшей охапке соломы, напряженные мышцы расслабились, а его прострация смахивала на агонию при воспалении мозга.

Бригадир доложил, как все произошло.

– Прислуга и соседи обсуждали у ворот ночное убийство и исчезновение Гепена накануне вечером и вдруг увидели, что он идет по дороге, шатаясь, как пьяный, и распевая во все горло.

– Он действительно пьян? – спросил г-н Домини.

– Как сапожник.

– Видимо, спьяну и вернулся, – пробормотал судебный следователь. – Тогда все понятно.

– Увидев негодяя, – продолжал жандарм, ни капли не сомневавшийся в виновности Гепена, – Франсуа, камердинер покойного графа, и Батист, слуга господина мэра, поспешили навстречу и схватили его. Он же был до того пьян, что все позабыл и решил, будто над ним собираются подшутить. И, лишь увидев одного из моих людей, несколько отрезвел. А тут какая-то женщина закричала: «Мерзавец! Это ты убил графа и графиню!» Услыхав это, он побледнел как полотно и замер, словно громом пораженный. И сейчас же начал вырываться, так что, не приди я на помощь, он сбежал бы. А ведь по виду не скажешь, что этот прохвост силен, как бык!

– Он ничего не говорил? – поинтересовался папаша Планта.

– Ни слова. От ярости он так стиснул зубы, что и «мама» вымолвить бы не смог. Короче, мы его скрутили. Я обыскал его и вот что обнаружил в карманах: носовой платок, садовый нож, два ключа, листок бумаги с какими-то значками и цифрами и адрес магазина «Кузница Вулкана». Но это не все… – Бригадир умолк и, подготавливая эффект, таинственно посмотрел на слушателей. – Да, не все. Когда его тащили во двор, он попытался избавиться от кошелька. К счастью, я был начеку. Он бросил кошелек в цветы, что растут у входа, но я заметил это. В нем оказался стофранковый билет, три луидора и семь франков мелкой монетой. А ведь вчера у негодяя не было ни гроша.

– Откуда вам известно? – задал вопрос г-н Куртуа.

– Франсуа, камердинер, сказал мне, что Гепен попросил у него двадцать пять франков в долг, чтобы заплатить свою долю за свадьбу.

– Позовите-ка Франсуа, – приказал следователь и, когда тот явился, спросил:

– Вы не знаете, были вчера у Гепена деньги?

– Какая-то мелочь, – не раздумывая, отвечал камердинер, – потому что днем он попросил меня одолжить двадцать пять франков и сказал, что, если я не дам, он не сможет поехать на свадьбу: ему нечем заплатить даже за проезд.

– Но у него могли быть сбережения, скажем, стофранковый билет, который он не хотел менять.

Франсуа с недоверчивой улыбкой покачал головой.

– Гепен не такой человек, чтобы делать сбережения. Женщины и карты съедали у него все деньги. Еще на прошлой неделе хозяин «Кафе дю коммерс» заявился сюда и устроил Гепену скандал, требуя уплаты долга. Он грозился, что пожалуется господину графу. – Но, увидев впечатление, какое произвели его слова, камердинер, пытаясь сгладить его, добавил: – Нет, вы не подумайте, будто у меня зуб на Гепена. До сегодняшнего дня я считал его славным малым, правда, слишком большим любителем повеселиться. Ну, может, он еще немножко задавался, потому что образованный…

– Вы свободны, – прервал излияния Франсуа судебный исполнитель, и камердинер удалился.

Гепен уже несколько пришел в себя. Г-н Домини, мэр и папаша Планта с любопытством следили за сменой чувств на его лице, которые он и не пытался скрыть, пока доктор Жандрон считал ему пульс.

– Угрызения совести и страх наказания! – определил мэр.

– Невиновность и бессилие ее доказать! – негромко возразил папаша Планта.

Судебный следователь слышал оба суждения, но ни к одному из них не присоединился. У него еще не сложилось твердого мнения, и он, будучи представителем закона, орудием правосудия, не хотел, высказываясь, заранее предрешать свои впечатления.

– Ну как, мой друг, вам лучше? – спросил доктор у Гепена.

Несчастный кивнул. Потом, испуганно оглянувшись, подобно человеку, измеряющему глубину пропасти, в которую рухнул, закрыл руками глаза и прошептал:

– Пить.

Ему подали стакан воды, и он залпом с нескрываемым наслаждением осушил его.

– Вы уже в состоянии отвечать на мои вопросы? – поинтересовался следователь.

Гепен слегка пошатнулся и замер. У него уже не так тряслись руки, с лица сошла бледность, и все время допроса он пытался привести свою одежду в порядок.

– Вам известны события, произошедшие этой ночью? Убиты граф и графиня де Треморель. Вчера вы вместе со здешней прислугой поехали в Париж, а около девяти вечера на Лионском вокзале расстались с ними. Вернулись вы сегодня отдельно от них. Где вы провели ночь?

Понурив голову, Гепен молчал.

– Это не все. Вчера у вас не было денег, этот факт только что удостоверен одним из ваших товарищей. Сегодня же у вас в кошельке обнаруживают сто шестьдесят семь франков. Где вы получили эти деньги?

Гепен открыл было рот, словно собираясь ответить, но какая-то внезапная мысль остановила его, и он промолчал.

– Еще вопрос, – продолжал следователь. – Что это за адрес магазина скобяных товаров, обнаруженный у вас в кармане?

Гепен безнадежно махнул рукой и выдавил:

– Я невиновен.

– Прошу заметить, – мгновенно отпарировал судебный следователь, – что я пока ни в чем вас не обвиняю. Вам ведь было известно, что днем граф получил крупную сумму?

Горькая улыбка искривила губы Гепена.

– Ясно, все против меня.

В гостиной царила мертвая тишина. Врач, мэр и папаша Планта сидели, не смея шелохнуться. Наверное, на свете нет ничего более захватывающего, чем безжалостный поединок между правосудием и человеком, подозреваемым в преступлении. Вопросы могут выглядеть пустячными, ответы самыми заурядными, но и в тех и в других сокрыты опаснейшие намеки. И тогда непроизвольный жест, мимолетная гримаса способны приобрести огромное значение. Вспыхнувший на миг взгляд свидетельствует об одержанной победе, чуть дрогнувший голос становится уликой.

Да, допрос, особенно первый, это подлинная дуэль. Поначалу противники мысленно прощупывают, оценивают друг друга; вопросы и ответы скрещиваются довольно осторожно, даже несколько нерешительно, как шпаги дуэлянтов, еще не знающих, кто чего стоит, но вскоре борьба становится жарче, звон клинков и обмен репликами живей, атаки настойчивей, ответные выпады стремительней, исчезает ощущение опасности, и при равных шансах победа достается тому, кто лучше умеет сохранять хладнокровие.

Г-н Домини был до отчаяния хладнокровен.

– Давайте разберемся, – предложил он после небольшой паузы, – где вы провели ночь, откуда у вас деньги и что это за адрес?

– А! – воскликнул Гепен в бессильной ярости. – Я сказал бы вам, да вы все равно не поверите! – Следователь собрался задать новый вопрос, но Гепен опередил его и, неистово сверкая глазами, повторил: – Да, не поверите! Разве такие, как вы, способны поверить человеку вроде меня? У меня, как вы выражаетесь, сомнительное прошлое. И меня все время тычут носом в это прошлое, как будто от него зависит будущее. Ну ладно, я действительно кутила, игрок, выпивоха, лодырь. И что из того? Да, я был арестован полицией, обвинен в нарушении порядка в ночное время и осужден за преступление против общественной нравственности. Но что это доказывает? Я погубил свою жизнь, но пострадал от этого только я. Мое прошлое! Но разве я не расплатился за него!

Гепен уже совершенно оправился и, обретя под влиянием воспоминаний даже нечто вроде красноречия, говорил с неистовой горячностью, потрясавшей слушателей.

– Раньше я и не думал, что пойду в услужение. Мой отец был состоятелен и даже богат. У него была земля в окрестностях Сомюра, и он слыл одним из лучших садоводов в департаменте Мен и Луара. Он заставлял меня учиться, и с шестнадцати лет я постигал садоводство в Анже у Леруа. Через четыре года меня уже считали знатоком своего дела. На мое несчастье, отец, уже давно вдовевший, умер. Он оставил мне превосходные земли стоимостью по меньшей мере сто тысяч франков. Я продал их за шестьдесят тысяч и отправился в Париж. В ту пору я словно обезумел. Я испытывал лютую, неутомимую жажду наслаждений, хотел изведать все радости жизни и притом обладал железным здоровьем и шестьюдесятью тысячами. Я считал, что Париж тесен для моих пороков, в нем, казалось мне, недостает возможностей для удовлетворения всех моих вожделений. И еще мне думалось, что шестидесяти тысяч мне хватит навечно. – Гепен умолк, вспоминая давнее прошлое, и прошептал: – Да, славное было времечко! – Потом продолжил рассказ: – Через восемь лет деньги кончились. Я остался без гроша, но хотел продолжать прежний образ жизни. Надеюсь, вы меня понимаете? Вот в ту пору как-то ночью и зацапали меня полицейские. Я отсидел три месяца. Вы найдете мое дело в префектуре полиции. Из него вы сможете узнать, что, выйдя из тюрьмы, я впал в постыдную, омерзительную парижскую нищету. В нищету, когда нечего есть, но ты всегда пьян, когда не имеешь башмаков, но целыми днями протираешь локти в кабачках; в нищету, которая кишмя кишит на танцульках в предместьях, скопом набивается в гнусные ночлежки и сговаривается на кражи в печах для обжига извести. Вы прочтете в моем деле, что я жил среди шулеров, сутенеров, проституток, и это будет правда.

Достойный мэр Орсиваля подавленно думал: «Боже праведный! До чего же нагл и циничен этот злодей! И подумать только, что в любой день к тебе в дом могут заслать под видом слуги такого вот негодяя!»

Судебный следователь молчал. Он чувствовал: для Гепена настал тот редкий момент, когда человек в порыве страсти становится неслыханно откровенен и выдает самые затаенные свои мысли.

– Но одного, – продолжал несчастный, – вы в моем деле не прочтете. Вы не узнаете из него, что эта гнусная жизнь омерзела мне до того, что хоть в петлю лезь, и я решил покончить с нею. Не узнаете о моих усилиях, отчаянных попытках вырваться из нужды, о моем раскаянии и о новых падениях. Прошлое вроде моего – тяжкий груз. В конце концов мне удалось встать на ноги. Свое дело я знал, и мне дали работу. Я переменил четыре места, прежде чем по рекомендации одного из бывших моих хозяев попал сюда. Мне тут понравилось. Да, правда, жалованье я тратил авансом… Чего уж там, себя не переделаешь. Но поинтересуйтесь: кто-нибудь когда-нибудь жаловался на меня?

Давно известно: самые ловкие и опасные преступники – это те, кто получил кое-какое образование и обладал прежде определенным достатком. И если подойти с такой меркой, то Гепен был исключительно опасен. Так думали присутствующие, когда он, исчерпав этой речью весь запас сил, стирал со лба обильный нот.

Но г-н Домини не упускал из виду план атаки.

– Все это прекрасно, – молвил он, – и в свое время и в соответствующем месте мы вернемся к вашей исповеди. А пока не соблаговолите ли рассказать, где вы провели ночь, и объяснить происхождение обнаруженных при вас денег?

Упорство следователя, похоже, привело Гепена в отчаяние.

– Ну что вы хотите, чтобы я вам сказал? Правду? Вы ей не поверите. Так что мне лучше молчать. Это судьба.

– Предупреждаю, – заметил следователь, – что в ваших интересах не упорствовать в молчании. Против вас выдвинуты настолько тяжкие обвинения, что я буду вынужден арестовать вас по подозрению в убийстве графа и графини де Треморель.

Эта угроза произвела на Гепена совершенно невероятное действие. Две большие слезы блеснули у него в глазах и медленно сползли по щекам. Силы покинули его, и он упал на колени, умоляя:

– Сжальтесь! Прошу вас, сударь, не арестовывайте меня! Клянусь, я невиновен!

– Тогда рассказывайте.

– Ну что ж, – произнес Гепен и встал. Но вдруг все в нем переменилось. Топнув в ярости ногой, он воскликнул: – Нет! Я не могу, не стану рассказывать! Граф – единственный, кто мог бы меня спасти, но он мертв. Я невиновен, и однако, если преступников не найдут, я погиб. Все против меня… Делайте со мной что хотите, я не скажу ни слова.

Решимость Гепена, подтверждаемая и непреклонным выражением глаз, ничуть не удивила судебного следователя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.